

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Елена Колесник
Андрей Федорив

МОСКВА
2008

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Я не помню и не знаю своих родителей. Я не знаю кто я и откуда, и куда иду. Я с трудом вмещаю этот мир, а мир до сих пор не вместил меня. Мне бесконечно одиноко и страшно порой до такой степени, что боль в затылке, и дышать нечем, но одиночество — это, пожалуй, единственное, что у меня есть, что я осознаю и чем дорожу. Одиночество и секс... Сознательное внутреннее одиночество, отсутствие привязанностей и боязни потери и секс вместо любви, секс вместо дружбы, секс вместо жизни. А жизнь на мгновение остановилась, скосив на меня свой зеленый глаз, пространство зазвучало, напряглось и треснуло то ли от чрезмерного количества выпитого и выкуренного, то ли просто от усталости, и появился из этой трещины человек или, скорее всего, не человек, опровергающий своим существованием законы и числа, и всю мою кривую жизнь...

Все одиноки, и всеми, в конечном счете, движет секс, если даже и не проявляется явно. Секс, как серый кардинал, управляет формами. Деньги,

власть, творчество — это лишь ступени, по которым вышагивает секс. И это не хорошо, не плохо. Мир форм... Мир тел... Разделенных... Мир одиночества. Напиши об этом. И, возможно, тебе откроется, что власть серого кардинала не такая уж сильная, если ты осознаешь эту власть. Осознать значит освободиться. Ты хочешь освободиться?

Я не знала, хочу ли... Но я совершенно ясно создала, что нужно делать так, как он говорит. И я написала. Все имена и даты изменены, стены перекрашены, города и страны сдвинуты, а, возможно, даже стерты... Впрочем, кто очень захочет, будет копать и проводить прямые и кривые линии, замерять углы и пользоваться программами восстановления, наверное, сможет меня узнать... Но таких мало, и я не против, чтобы они сделали это. Хорошая работа должна быть награждена достойным результатом. Меня всегда награждали за хорошую работу. Медалями, кубками, призами, ценными подарками, движимостью и недвижимостью, хамством, унижением, болью. Но без унижения и боли нет наслаждения, а в хамство мы и без того погружены по самую макушку, так что воспоминания самые приятные.

Первым ярким и сильным воспоминанием был процесс наказания за «ни за что» или за мелкую провинность, в большинстве случаев именно за «ни за что», или по причине плохого настроения или похмелья кого-либо из учителей или наставников. Вообще, вспоминая детский дом, в котором, как мне кажется, я, наверное, и родилась, поскольку ничего другого, как не напрягаюсь, вспомнить не могу, в голове рисуется замысловатый узор огромных длинных коридоров, напоминающий чудовищный лабиринт, выхода из которого не существует. И, несмотря на это, ты все равно находишься в постоянном поиске выхода, не обращая внимания на неудачи и не чувствуя боли от столкновения с бетонными стенами и с дубовыми головами таких же, как и ты, сталкеров. Коридоры идут во всех направлениях, пересекаясь и насмехаясь над твоими слабыми попытками вырваться на свободу, и каждый такой коридор заканчивается огромным белым кафельным туалетом без двери. Тебя встречает стройный ряд раковин — белых лебедей с надломленными шеями кранов, из которых монотонно капает их прозрачная несчастная кровь. За раковинами шумят водопадами ржавые от постоянно льющейся воды унитазы. Едкий запах хлорки, табачного дыма, легкой

туалетной вони и еще чего-то, неподдающегося определению. И вот в этот туалетный рай приводят тебя, когда у тебя хорошее настроение, и ты рискнул забыться и совершил акт проявления свободы, или просто, когда у них плохое, раздевают до трусов, ставят на колени на холодный кафельный пол рядом с лебедями со свернутыми шеями или подле унитазов с ржаво-красными безднами сливов — как повезет — и ты стоишь на слабых коленях, стуча от холода и обиды зубами, погружаясь в свое одиночество в течение нескольких часов, пока кто-нибудь не сжалится над тобой и не позволит одеться и тихонько ретироваться в одиночество общее. Можно было, правда, проявить непослушание и показать свой нрав, но подобное поведение обычно кончалось публичной поркой, вследствие чего являлось редкостью, и расценивалось как потеря ориентации и здравого смысла в результате обильного питания, поскольку диагноз ставился всегда однозначный: «Совсем зажрались», — за чем следовала обычно тотальная диета для всех, кто «зажрался», а виновник был бит уже своими же — голодными и злыми.

На завтрак давали кашу: манную, перловую, пшеничную, ячменную, чаще всего овсяную, вкуснее всего гречневую, но гречневую редко, серый хлеб, кусочек масла и стакан холодного чая. Каша успехом особым не пользовалась, поскольку зачастую ее просто нельзя было есть по причине отвратительного вида и странного запаха, а вот хлеб с маслом ели все, на него спорили, его отнимали,

за него воевали... С наступлением очередной диеты масло из нашего рациона исчезало, впрочем, как и редкие обеденные сосиски и котлетки и пахучие и ужасно вкусные вечерние булочки. Правда, у многих были свои гостиничные запасы, оставшиеся от посещения родственников. Ко мне же за все время пребывания в детском доме ни единого разочка никто не пришел и ничего не принес. И хотя меня иногда и угощали другие дети — обычно черствыми сухарями или гнилыми яблоками — особенно рассчитывать на это не приходилось. Наверно поэтому, становясь старше, я научилась есть холодную и противную утреннюю кашу, овощной суп, да и почти все, что давали... Воспитатели даже часто ставили меня в пример: «Посмотрите, — говорили они. — Кира уже все съела». А про себя добавляли: «Если бы не съедала, давно бы сдохла». «А вот и не сдохну», — отвечала я, прощупывая свои выступающие во всех местах кости.

Мне часто снилась моя мама, та, которую нарисовала я себе в бреду и слезах. Я выдумывала ей разные оправдания. То она была известной актрисой, вынужденной скрывать факт моего рождения из-за своей карьеры, то разведчицей, родившей меня от иностранного шпиона, то инопланетянкой. Я несколько не сердилась на нее и во всех случаях гордилась. Никогда никому о ней не рассказывала, и не потому, что авторы подобных историй обычно поднимались на смех, а иногда и вовсе были биты, а потому, что не видела вокруг

достойных моих откровений.

Время от времени к нам навевались усыновители. Документы у меня были самые, что ни на есть, заманчивые. В графе «Ближние и дальние родственники» стоял жирный прочерк — никаких родителей, пребывающих в местах лишения свободы, никаких тетей, дядей, бабушек, дедушек, сердобольных бывших соседей — никого! Но, когда очередную пару заинтересованных потенциальных мам и пап с неохотой подводили ко мне со словами: «Очень трудный и дикий ребенок, мы бы вам не советовали...», — они понимали, что жить им не с документами, а с маленьким чертом. Я была тогда мелкой, худой, похожей на мальчика, девочкой с красивым лицом, спутанными, нечесаными, почти всегда грязными волосами, синими глазами и с до такой степени шкодливым выражением лица и волчьим взглядом, что у них пропадало даже желание задать один из дежурных вопросов типа: «Ты бы хотела иметь свою комнату?» А если даже кто-то из самых отважных и решался что-нибудь спросить, ну, так, чтобы не потерять лицо, то в ответ слышал: «Да, пошел ты...»

Это вовсе не означало, что я не хотела иметь маму и папу, свой дом и свою комнату. Очень хотела. Хотела так, что после каждого такого посещения плакала часами, забившись в один из самых дальних углов. Хотела так, что постоянно мечтала и вела нескончаемый внутренний диалог со своими воображаемыми родителями. Просто я понимала, что меня все равно никто никогда не возьмет, и

мне не хотелось чувствовать себя ущемленной из-за того, что я не понравилась, я предпочитала первой дать понять, что мне никто не нравится и не нужен. И самое удивительное, что постепенно это стало правдой. Я приняла свое одиночество и вместила. Оно было мое. Мое навсегда. Это было единственным, что у меня было ...

В тринадцать меня изнасиловал учитель истории. Молодой, красивый извращенец. К тому времени я уже знала, что он насилует девочек, похожих на мальчиков — тонких, крепких, с узким тазом и маленькой грудью, или лучше совсем без груди. Я была именно такой. Так что это являлось только делом времени. И время настало. Он попросил меня помочь отнести какие-то книги в его комнату — он жил с нами в одном здании. Когда я собралась уходить, он толкнул меня на диван за подбородок и, твердо сказав: «Молчи», — начал меня раздевать. Я пыталась сопротивляться и кричать, но последовала мощная пощечина, лишь чудом не оторвавшая мне голову, из глаз хлынули слезы, а голос пропал. Он запрокинул мне голову, навалившись на меня всем телом, плотно прижал к дивану.

— Еще раз вякнешь, убью. — Сказал он, тяжело дыша, и резко вошел в меня.

Было больно. Очень больно. Я плакала молча под его ритмичные толчки и шумное дыхание. Казалось, это никогда не кончится. Между ногами горело и хлюпало. В ушах стоял гул. Было впечатление, что в меня въехал скорый поезд и застрял. И вот он дергается туда-сюда, пыхтит, пытаюсь все-таки прорваться.

Наверно, я все-таки потеряла сознание, потому что, когда после провала в никуда я снова обрела способность видеть, слышать и говорить, он сидел рядом на полу и курил.

— Ты молодец... — сказал он, погладив меня по голове. — Для первого раза ты вела себя более, чем достойно. Можешь идти. — Он протянул мне стограммовую плитку шоколада «Аленка» и улыбнулся.

Я смотрела на шоколад... До этого дня я только видела, как едят его другие дети и знала его запах. Иногда мне снилось, как его приносит мама, и я медленно-медленно его ем. Но даже во сне шоколад не был таким большим.

— Бери, заслужила. И будь умницей.

И я взяла... Я не смогла не взять. Желание попробовать шоколад было сильнее боли, сильнее обиды, сильнее гордости.

Я вышла из его комнаты, сразу же развернула шоколад и стала его есть. Быстро. Почти не чувствуя вкуса. Как будто торопилась, чтобы никто не увидел и не отнял. Я ела и плакала. Соленые слезы затекали в рот и разбавляли приторный непривычный вкус. Когда остался маленький кусо-

чек, я усилием воли перестала спешить, стараясь как можно дольше задержать шоколад во рту и запомнить его вкус. Возможно, это будет моя первая и последняя плитка. Но шоколад таял, и по мере того, как он таял, во мне росло зло и отчаяние. Идти и кому-то жаловаться не было смысла — все и так все знали, тем более, я съела шоколад, значит, все по-честному. Но обида и боль требовали выхода, и выход нашелся — я побежала.

Окруженная ржавой и рваной сеткой рабицей старая спортивная площадка, с каждой стороны которой возвышались огромные железные жирафы, держащие в крепко сомкнутых ртах баскетбольные кольца, похоже, не видела еще такого зрелища. Я бегала, как сумасшедшая, накручивая круги и часы на глазах у грустных, удивленных жирафов, вынужденных сжимать свои железные рты, чтобы не выронить кольца. Если бы не эти кольца, жирафы наверняка что-нибудь сказали, как-нибудь меня поддержали бы — я была в этом уверена. Но они молчали, а я бегала. Изо всех сил. Оказалось, что сил у меня предостаточно. Я пробежала несколько часов, пока силы не оставили меня, и я не упала.

С того дня я начала бегать регулярно, причем, не важно, хорошо ли мне было или плохо. Бегала от обиды, от грусти и от радости. В один из таких забегов ко мне подошел дядька.

— Девочка, ты хочешь заниматься легкой атлетикой?

— А что это?

— Это спорт...

— Очень хочу. — Твердо сказала я. — И мне все равно, что это за спорт.

— Отлично. — Он взял меня за плечо. Я резко вывернулась.

— Только я детдомовская...

— Это не проблема. Я все улажу. Отведи меня к директору.

Я отвела. А он уладил. Правда, на это у него ушло минут сорок. Я пыталась подслушивать, но слов разобрать не могла, слышала только, что ругаются. Он вышел со словами:

— Завтра у вас будут все необходимые бумаги. До свидания. — Сказал он нашей директрисе. Потом мне:

— Пока, Кира. Увидимся. — И быстро ушел. А я побежала. От радости.

Через два дня мне выдали справку для проезда в общественном транспорте, и я стала ездить на тренировки сначала три раза в неделю, потом пять. Я была счастлива.

Учитель истории изнасиловал меня еще два раза перед тем, как я, наконец, расслабилась и стала пытаться получать удовольствие от сексуальных действий. И у меня получилось. Жизнь повернулась ко мне совсем неожиданной стороной. Глеб, так звали моего насильника, водил меня в кафе, покупал мне одежду, украшения, фрукты, шоколад, даже книги, правда, я их никогда не читала, рассказывал мне массу интересных вещей, которые я редко слушала, поскольку с трудом понимала, о чем идет речь. Он купил мне первые джинсы и черную короткую куртку с надписью «TEXAS». Для меня это были неземные сокровища, и я готова была раздвигать ноги всегда, когда он этого желал. Мне было хорошо с ним. Кроме того, коренным образом изменилось отношение ко мне в детдоме. Дети передо мной заискивали, но в тоже время как-то сторонились и побаивались, взрослые вообще перестали меня замечать — никаких наказаний, никаких претензий, я делала и говорила, что хотела, ходила, куда хотела. Меня не видели, не фокусировали, смотрели сквозь и через. Все это чрезвычайно устраивало и радовало.